

Григорий Канович

Ли́ки во тьме

«Автор»

2001

УДК 821.161.1(474.5)(081.2)+821.161.1(596.4)
(081.2)+821.161.1(474.5)-31

Канович Г.

Лики во тьме / Г. Канович — «Автор», 2001

В повести «Лики во тьме» главного героя Григория-Гирша, беженца из маленького литовского местечка, немилосердная судьба забросила в военную годину в глухой казахский аул, находящийся посреди бесконечной, как выцветшее небо, степи. Там он сталкивается с новыми, порой бесчеловечными реалиями новой действительности...

УДК 821.161.1(474.5)(081.2)+821.161.1(596.4)
(081.2)+821.161.1(474.5)-31

Содержание

I	6
II	16
III	26
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Григорий Канович Лики во тьме



I

Как странно, – думал я, сидя под лимонным деревом в благодатной и недолговечной тени, – минуло без малого шестьдесят лет, а до сих пор все еще кружат голову неотвязные сны о том далеком, бедственном времени, которое как бы смерзлось в лед на степных казахских просторах; только зажмурю глаза и вижу перед собой крошечный кишлак у подножия Ала-Тау; его белоснежные загадочные отроги; мерцающие желтушными огоньками саманные хаты; нашу хозяйку и спасительницу Анну Харину, приютившую беженцев или, как их тут называли, «выковырянных» из никому не известной в здешних местах и уже поэтому враждебной Прибалтики. Как странно, – думал я, – миновала целая вечность, но в состарившейся памяти вслед за тусклыми огоньками в узеньких, без всяких рам и занавесок окнах, похожих на башенные бойницы, то и дело вспыхивают размытые контуры полузабытых лиц; откуда-то, словно утопленники со дна, нет-нет да всплывают умершие с голоду люди и околелшие домашние животные, терпеливо делившие с беженцами и кров, и скудную пищу, и хвори, а порой – и редкие, сморщенные, как перезревшие райские яблочки, радости.

Как странно, – думал я, прислушиваясь к бестолковой птичьей возне на ветках, осиянных миниатюрными солнцами уже созревших лимонов, – только смежи веки, и все, что бог весть когда было пережито под другим небом, за тысячи верст от этой обретенной после всех кочевий и странствий миротворной тени, в один неуловимый щемящий миг укрупнится под увеличительным стеклом памяти и приблизится, как вынырнувший из ночи поезд, который мчится на всех парах, сверкая в крошечной тьме своими призывными, призрачными огнями. Приблизится и, окатив тоской по тому, чему и подходящего названия-то найти невозможно, то ли по нелепо утерянному детству, то ли по бесприютной молодости, вдруг обдаст горькими дымами чужбины и сиротства.

Память, память... Разве не подобна она, – думал я, – светящемуся в ночи поезду: всю жизнь только и делаешь, что норовишь вскочить на ходу на подножку и вернуться туда, где твое счастье (если тебе и впрямь подфартило) – все еще счастье, а твоя беда (если никакого фарта не было) – давным-давно уже не беда.

Я закрываю глаза и невольно переносюсь в ту постылую осень, в тот затерявшийся в казахской степи кишлак, облюбованный кочевниками-ветрами и скотоводами; в крытую саманом, выцветшим на крутом солнце, хату, из которой каждое утро выскальзывает во двор наша пышнотелая хозяйка Анна Харина. Дерзкая, грудастая, она бежит вприпрыжку к колодцу, вырытому ее Иваном, геройски погибшим не то под Каунасом, не то под Двинском, погружает в узкий проем скрипучую бадью, зачерпывает студеную воду, ловко скидывает одной рукой белую ночную сорочку и, весело взвизгивая от холода, обливает себя, голую, с головы до пят.

– П-р-р-р! – радостно фыркает она, как необъезженная степная кобылица.

– Ты чего, негодник, подглядываешь? – на идиш журит меня мама, когда разругавшаяся хозяйка влетает со двора в хату. – Отвернись, бесстыдник, к стенке! Кому сказано – к стенке!

Сквозь птичью бестолковщину в ветвях на улице имени чернобородого Теодора Герцля – провозвестника Израиля – я отчетливо слышу озорной голос тети Ани (так она, приняв нас с мамой на постой, великодушно велела себя называть):

– Пускай подглядывает. Его я кипятком не ошпарю, не бойся.

И, не обсохшая от радости, Харина, подмигивая, принимается рассказывать, как отвадила соседа – объездчика Кайербек, чересчур любопытного к женским прелестям, от запретных подглядываний; как она загодя вскипятила воду, налила в помойное ведро, из которого поила двух своих пестрых, бегавших за ней подсвинков; как тихонечко подкралась

сзади к похотливому нахалу, устроившему свой наблюдательный пункт за дровяным сарайчиком; как плеснула ему кипятком в задницу. Кайербек, говорят, после этой экзекуции две недели провалялся в Джувалинске в военном госпитале, но доктора так и не выпытали у него правды. Бытовая травма, уверял он, уселся, мол, нечаянно на раскаленный чугунок и обжег ягодицы...

Господи, когда это было? И было ли это вообще? Не придумал ли, не создал ли я все это в своем воображении, чтобы нехитрым вымыслом хоть как-то подсластить и скрасить свою старость: и этот крошечный у подножия Ала-Тау глухой, как табакерка, кишлак; и этот ладно срубленный Иваном Хариным под окнами колодец – памятник короткому и счастливому замужеству тети Ани; и это ее ежеутреннее, чуть ли не обрядовое омовение на рассвете; и эту ее тяжелую русую косу, степной, верткой змеей сползавшую на щербатый глиняный пол, норовившую как бы шмыгнуть куда-то в подпол?

Может, и придумал. Ведь в придуманном времени куда легче жить, чем в реальном. Если хорошенько пораскинуть мозгами, то что такое, в конце концов, для каждого из смертных время? Разве не хитроумная Господняя придумка? У кого ключик от времени, говорила бабушка Роха, тот и его властелин. А этот золотой ключик – не на поясе у часовщика Гедалье, а у Всевышнего за пазухой. Это не хилый Гедалье по своему усмотрению заводит и останавливает время, это Он – Всемогущий и Всемиловитейший – для кого откручивает его назад, для кого подкручивает вперед.

– Отвернись! – сердится мама. – Я тебя сейчас не кипятком, а ремнем ошпарю.

Как странно, – думал я, – сижу под лимонным деревом, забрызганным птичьими трелями, на тихой улице бородача Теодора Герцля, где никто, наверное, и слыхом не слыхивал ни об отрогах Ала-Тау, ни о женщине по имени Анна, ни о похотливом Кайербеке с ошпаренными ягодицами; спасаю себя от жары бутылкой «Мэй Эден» и, повинаясь неведомой силе, послушно поворачиваю голову от налитых живительными соками плодов на ветках и от солнца, ликующего в израильском, лишенном даже помарки небе, к вдовьей хате, сложенной из глины вперемешку с соломой, к голой стене, и эта стена, словно ширма, раздвигается от поворота моей головы, рассыпается во прах от первого брошенного на нее взгляда, и в воздухе вдруг висят не спелые лимоны, не пичуги – сосунки меда, а поблекшая, едва различимая фотография молодого, заложившего ногу на ногу мужчины, перепоясанного, как траурной лентой, черной портупеей, который пал смертью храбрых не то в Литве, не то в Латвии, и до моего слуха оттуда, из прошлого, едва тлеющего, словно забытый на обочине костер, доносится скрип колодезного журавля и покачивающейся ржавой бадьи, роем наплывают прежние образы и лики, и я вижу, как в небе над убогими мазанками, над степью, онемевшей от собственной бесконечности, над ближними отрогами Ала-Тау гаснут умаявшиеся за ночь звезды, и вдова Анна Харина, заброшенная судьбой-злодейкой в азиатскую глухомань, вытирает льняным полотенцем упругий росистый живот с розовым пупком, и в зыбком предутреннем свете на ее тугих матовых грудях, похожих на спелые, после дождя, колхозные дыни, бисером сверкают капли, такие же ядреные капли сверкают на крутых бедрах, на длинных крепких ногах и под лопаткой, усыпанной родинками, словно пирог изюмом.

– Чего ты, Женечка, на него шипишь? Пускай подглядывает, – орудуя полотенцем, говорит растерянной квартирантке пунцовая хозяйка и смеется. – И пацану приятно, и бабе. Что за радость цветку, коли никто на него не смотрит? Или ягоде, если никто ее хотя бы взглядом не попробует? Цветочек завянет, а ягодка засохнет. Пускай подглядывает на здоровье.

И снова ха-ха-ха, хи-хи-хи, только еще громче, чем прежде.

Мама сердится и, как всегда при этом, раздувает ноздри. А хозяйка, хоть ей перечь, хоть не перечь, все равно настоит на своем. На то она и хозяйка. Вздумается Хариной нас выгнать на улицу и принять на постой кого-нибудь из Борисова или Ленинграда (а в кишлак приехало

аж четыре беженских семьи, и спрос на русскоговорящих хозяев велик, каждому хочется с ними без переводчика договориться) – и выгонит, и примет. Даже всеильный Нурсултан, еще при живом Иване увивавшийся за ней и благоволящий к ней поныне, не остановит ее. Взбретет нашей благодетельнице в голову не только голышом искупаться, а прошвырнуться в таком виде по всему кишлаку – от старого кладбища до развилки на Джувалинск, или, скажем, самовольно переиначить на русский лад тьмутараканские имена беженцев – и тут никто ей не запретит: накинёт на плечи полотенце и, крутя голыми бедрами, потопаёт по проселку, а для каждого басурманина христианское имя в святцах подберёт.

– Да вы тут с вашими именами просто пропадете, – искренне опечалилась Харина.

– Имена как имена, – неумело, коверкая русские слова, защищалась мама.

– У вас, в Литве, такие имена, может, и годятся, – убеждала ее хозяйка. – Ноу нас... Зубы сломаешь, пока выговоришь. – Казахские, и те лучше... – не уступала Харина. – Пока не поздно, вас обоих надо переименовать.

Мама испуганно глянула сперва на Харину, потом на меня.

– Только не подумайте, что я собираюсь вас крестить в ледяной купели. Оставайтесь, пожалуйста, евреями, – выдохнула тетя Аня. – Мне что еврей, что татарин, что казах – один черт. Главное, чтобы человек был хороший... Если честно признаться, то еще совсем недавно я о евреях понятия не имела. В Новохоперске их не было, да и тут, в степи, они, уж извините, не водились. Но коли уж вы пожаловали сюда, то мой вам совет – смените ваши имена на наши. Не то вас еще в немецкие шпионы запишут. Лучше всего вам для вашей же пользы обзавестись новыми именами.

Мама ее не перебивала, слушала и мрачнела. Евреи – немецкие шпионы?! Какой вздор! Какая нелепица! И чем, скажите, плохи такие простые имена, как Хена или Гирш-Янкл?

Но хозяйка была настроена решительно.

– Что, объясните мне, по-вашему означает Гирш? – стараясь не глядеть на пригорюнившуюся беженку, спросила Харина.

– Олень, – ответил я.

– О! – воскликнула хозяйка. – И вправду красиво. Но твои однокашники тебе из-за этой красоты житья не дадут – быстро рога обломают. Они тебя не оленем, а паршивым козлом или ишаком обзывать будут.

– Почему? – обиделся я.

– Почему, почему... – передразнила меня Харина. – Потому! Чем без толку спорить, лучше какое-нибудь другое имя придумаем. У меня есть предложение. Что если вместо Гирша-Оленя – Олег?

Мама подавленно молчала. Молчал и я. Олег?! Бабушка Роха сейчас, наверное, в гробу переворачивается. Ее опору и надежду, ее быстрого оленя, скачущего по холмам и долинам Иудеи, превращают в какого-то Олега. Господи, какой срам!

– Что вы молчите, как на похоронах? – обиделась на квартирантов Харина. – Олег не был ни вором, ни разбойником. Он был храбрым русским князем и воином.

В раздутых ноздрах мамы осами жужжали обида и недовольство.

– О нем еще Пушкин писал, – бросила хозяйка и вдруг стала читать затверженные, видно, еще в детстве стихи: – Как ныне собирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам...

– Нет, – выдохнула мама. Ее Гиршеле никогда не будет Олегом. Имя ему подобрал не какой-то там Пушкин, а сам премудрый рабби Йехезкель, великий знаток Торы, святой человек.

– Нет, – поддержал я маму. Мне не хотелось быть Олегом. Я никому не собирался мстить – ни хазарам, ни немцам, из-за которых мы были вынуждены бросить свой дом и бежать куда глаза глядят из Литвы. Никому! Мое имя мне нравилось больше, чем княжеское.

Пусть мои однокашники обзывают меня как угодно, только бы мама не раздувала ноздри, только бы бабушка не переворачивалась в гробу. Но не собирался я обижать и хозяйку. Ведь из всех беженцев она только нас пустила на постой. И когда мама схватила воспаление легких, Харина ее в беде не оставила, отпросилась у председателя Нурсултана с работы и целую неделю не отходила от постели больной – ставила банки, натирала какими-то мазями, поила травяными отварами.

– Не нравится Олег – не надо, – простодушно сказала наша благодетельница и предложила другой выход. – Тогда небольшой ремонт произведем. Гриша – это же почти по-вашему, только две буквы местами поменяем. Гриша! А полностью по-взрослому Григорий. Ну как – подойдет? – Харина с надеждой посмотрела на маму. – Хорошее имя. Когда-то в школе я в такого Гришу Мукасева была по уши влюблена. Мы тогда еще в Новохоперске жили.

– Может, все-таки без ремонта? – промолвил я, не очень надеясь на успех.

– Лучше, чем Григорий не придумаешь. Знаете, какие люди были Григориями? Григорий Отрепьев, Григорий Распутин, Григорий Котовский... Мужики что надо. Кого ни спроси, все их знают. Даже Кайербек. Когда-нибудь и ты, Гриша, прославишься, как они, в бою или в царской постели, а может, и тут, и там разом... – она прыснула и подперла руками груди, заточенные в лифчик. – А когда вернешься к себе на родину, про меня, свою крестную Анну Пантелеймоновну Харину, вспомнишь. Вспомнишь и сюда, в «Тонкарес», из Литвы на меловой бумаге с сургучной печатью мне благодарность пришлешь.

Я не мог взять в толк, о какой такой славе, добытой в боях или в царской постели, говорит наша хозяйка. И уж во что я вовсе не верил, так это в то, что на меловой бумаге с сургучной печатью напишу ей благодарность. И не потому, что она не заслуживала ее. Еще как заслуживала! Просто мне казалось, что ни я, ни мама, ни отец уже никогда не вернемся в Литву. Правда и расстраивать Харину не хотелось. Тем более, что мое слегка отремонтированное имя было и впрямь чем-то похоже на прежнее. И мама против него вроде бы не возражала. Гриша так Гриша. Ободренная удачей, Харина приступила к обряду переименования мамы.

– Уж ты, голубушка, не обижайся, но от твоего имени даже лошади будут шарахаться, – сказала она. – Ты, понятное дело, к нему привыкла, как к своему голосу или носу. Другое имя для тебя – примерно то же самое, что для цесарки курье оперение. Но у нас, поверь, с таким именем ни туды, как говорится, и ни сюды. Тебя и замуж не возьмут, и на приличную службу не примут. Кому охота с Гиеной в постель ложиться или бок о бок целый день в конторе тереться.

– Я не Гиена, а Хена, – отбивалась мама. Ну чего, спрашивается, Харина пристала – не ей же с этим именем горе мыкать? Стало быть, и переделывать его на свой лад не ей. За то, что приютила – поклон до земли. Но в душу лезть...

– Ладно, ладно, – пригасила ее гневливость хозяйка. – Я желаю тебе только добра. Не знаю, как в Литве, но здесь у нас имя – как пропуск. Без этого никуда тебе ходу не будет. Хена? Сроду такого имени не слышала.

– До войны и я про ваше не слышала, – удивляясь собственной дерзости, ответила мама, снова раздувая ноздри.

Другого мужа ей не надо. А служба... Какая в колхозе служба? В колхозе для работы руки нужны, а не имя. Имя, даст бог, стерпят.

Утихомирится и придирчивая хозяйка. Ведь Анна Пантелеймоновна приняла их, как родню; всю мебель в хате переставила; сама с дочкой на черную половину перебралась – за ситцевой ширмой с вылинялыми от стирки цветами разместились; перевесила с одной голой стены на другую любительскую фотографию, где она в обнимку с Иваном в Крыму на фоне какой-то исторической достопримечательности, а для беженцев отвела всю горницу с застекленными оконцами; выбила из дивана с плюшевой спинкой тучу древней пыли; достала из

шкафа свежие простыни и наволочки – спите, мол, на здоровье! Что с того, что из-под дражного плюша всю ночь клопы прут и еврейскую кровь посасывают. Зато какой простор на диване и какие снятся сны – хорошие, довоенные: во дворе бабушка ощипывает белоснежных гусей; отец на берегу Вилии бамбуковой удочкой рыбу удит... Благодать, и только! Разве горницу сравнишь с беззаконной удушливой теплушкой, плюшевый диван – со скрипучими занозистыми нарами, а степную, густую, как повидло, тишину – с колесным стуком товарняка, низвергающегося в ночную тьму?

– Даже среди басурман такого имени не сыщешь. Где это слыхано, чтобы человека Гиеной звали? – удивленно таращила глаза хозяйка.

– Меня зовут Хена, а не Гиена, – страдая от косноязычия, пробормотала мама.

– Для русского уха что Гиена, что Хена – одно и то же. Ты хотя бы знаешь, что это за зверь – гиена? – не унималась Харина.

Мама не отвечала, покусывала сухие губы. Я боялся, что она соберет наши пожитки и уйдет от Хариной куда угодно – пусть не к русским, пусть к казакам, туда, где не станут ее попрекать прежним именем. Живет же музыкантша Розалия Гиндина с сыном Левкой у старого охотника Бахыта – отца объездчика Кайербека. Бахыту неважно, как зовут квартирантку – Розалией или Фаиной. Главное, чтобы за крышу над головой не мольбами и не горячими слезами рассчитывались, а денежками или драгоценностями. А там называй себя, как тебе заблагорассудится.

– Гиена – это шакал, только женского рода, – как ни в чем не бывало, продолжала тетя Аня. – Ты что – хочешь, чтобы тебя в колхозе все по-шакальи кликали?

– Меня зовут Хена, а не Гиена, – упорствовала мама.

– Ну и будь для себя Хеной, – не выдержала Харина. – А мне позволь тебя по-своему звать – Женей, Женечкой... Так мою несчастную сестричку звали... В пруду, бедняжка, утонула.

– У мамы справка, – вставил я, – из эвакупункта. Там ясно записано – Хена.

– Подумаешь – справка! Да я попрошу у Нурсултана – и он ей в два счета другой документ выправит. Любое имя выпишет. На выбор: хошь – Татьяна, хошь – Надежда. Стоит мне только ему моргнуть. На имена он у нас щедрый. Имена – не зерно, за них отчитываться не нужно. Зря ты, Женечка, артачишься. Когда вы, даст бог, после войны снова к себе в Литву вернетесь, то сможете называться, как вас при рождении нарекли... как бабушка звала, как муж. Второй месяц одним воздухом дышим, а где твой благоверный обретается, я так от тебя и не узнала. Жив ли, развелись ли? Может, его, как моего Ваню... немцы... – И Харина поперхнулась роковым глаголом.

– Он стреляет, – прибегая к простейшим, уже истерзавшим ее слух русским словам, выдохнула мама.

– Раз стреляет, значит жив. Радуйся! – сказала хозяйка. – Кого убили, тот уже отстрелялся. Моего Ванюшу пуля на пограничной заставе нашла. Не то в Литве, не то в Латвии. Неман – это чья река? Ваша?

– Наша, – ответил я.

Тетя Аня обвила косой, словно удавкой, смуглую шею и тяжело вздохнула:

– Небось, и могилы не найти...

Снова вздохнула и спросила:

– От батьки, Гриша, когда последняя весточка была?

– Пока сюда ехали, никто почту в теплушку не приносил. И тут мы почтальона в глаза не видели, – невесело ответил я.

– Есть почтальон, есть. Летом наш письмоносец раз в неделю из райцентра приезжает, а зимой, если заносов нет, в две... Отчаиваться нечего. Садитесь, и отсюда отцу пару теплых

слов черкните. Так, мол, и так, живем, не тужим. И адрес: Южно-Казахстанская область, Джувалинский район, колхоз «Тонкарес», Хариной Анне Пантелеймоновне...

– Но я не Харина, – опустошая крохотную шкатулку с заученными русскими словами, напомнила мама.

– Не Харина, не Харина, – затараторила Анна Пантелеймоновна. – Но твою фамилию в колхозе никто не знает. А моя не то что почтальону – горным козлам известна!..

– Хорошо, хорошо...

Мама ради письма от мужа была на все согласна. Только бы он отозвался, только бы ответил. Пятнадцать лет прожили без всякой почты. Когда живешь вместе, нет нужды бумагу переводить и платить за марки. Кто станет думать о разлуке, когда до всего рукой подать: и до колыбели, и до хупы, и до кладбища?..

– Слава тебе, Господи, – согласилась, – встрепенулась тетя Аня. – Вы друг дружку называйте хоть по-еврейски, хоть по-литовски, хоть по-турецки, а уж тут извольте зваться по-нашенски...

Она вдруг заторопилась, скрылась за ситцевой ширмой, надела голубое платье в мелкий белый горошек, покрутилась перед зеркалом, переплела косу, сложила ее кренделем на затылке и крикнула:

– Зойка! Вставай! Нашего Гришеньку под белы ручки в мектеп поведем! Хватит ему баклуши бить и Бахытовому ишаку хвост подкручивать. Кто, Зоинька, сказал – учиться, учиться и учиться?

– Гюльнара Садыковна, – выпалила дочка и смачно зевнула.

– Ленин, дура! – беззлобно отрезала тетя Аня. – Что если я попрошу Гюльнару посадить Гришу за одну парту с тобой? Только смотри – не втрескайся в него. Я знаю, ты вся в меня. Влюбчивая.

Зойка не откликнулась, только слышно было, как она старается перебороть сон – перекачивается с подушки на подушку, медленно слезает с кровати, долго не попадает в дырявые тапочки и наконец начинает шлепать ими, как будто ступает по воде.

– А Левку куда? – позевывая, пропела Зойка.

– Левка с Амангельды сядет или с этой Беллой из Борисова.

– Мне все равно. Левка все время под юбку лезет, да еще обзывается. Тычет в меня пальцем и кричит: «Харя!»

– А ты терпишь?

– Я отбрыкиваюсь и тоже кричу: «Гнида, убери лапу!»

– Тут надо не отбрыкиваться, а по рукам давать. Сегодня он под юбку лапой, а завтра... – проворчала Харина. – На ягоду-малину все зарятся, но ее крапива стережет, а кто бабу стеречь должен?

Зойка не знала, кто должен стеречь бабу.

– Строгость и только строгость! Поешьте и айда.

– А ты? – поинтересовалась дочка.

– За меня не беспокойся, я в конторе перекушу. А на обед Женечка нам борщ сварит. Ты, Гриша, к борщу по-флотски как относишься?

Разве за чужим столом, где не то что похлебка – ложка не твоя, а кишки от голода сводит, откажешься от борща?

Мы с Зойкой быстро позавтракали и вдвоем отправились в школу – мектеп.

То была странная школа с небелеными стенами, увешанными жухлыми, как трава в засуху, портретами Сталина и плакатами, которые благодарили вождя и учителя «За наше счастливое детство». Учили в ней в основном на казахском языке. Русских учеников можно было перечесать по пальцам. Старшеклассников каждый день из колхоза «Тонкарес» возили на раздрыганном газике в другой колхоз, названный в честь Первого съезда Ленинского

комсомола, где жили спецпереселенцы – ссыльные донские казаки, раскулаченные в двадцать девятом году украинцы и несколько непокорных горцев.

В класс, куда меня привела Харина, на «русских» партах кроме Зойки томились еще двое новичков, эвакуированных из Белоруссии и блокадного Ленинграда – Белла Варшавская и Левка Гиндин. Не по годам рослый, не похожий на еврея, рыжеволосый квартирант старого охотника Бахыта, Левка своими знаниями повергал в почтительный ужас не только однокашников, но и Гюльнару Жунусову, которая учительскую должность совмещала с директорской. После того, как учителя-мужчины были призваны в армию, тоненькая, быстроокая, с затейливым хохолком ночной птицы на голове Гюльнара, как оказалось, вызвалась вести все предметы, начиная от родного языка и географии и кончая физкультурой и пением. Торопившаяся на работу в колхозную контору Харина постаралась меня сбыть как можно быстрее, словно молодого телка на местечковом базаре.

– Познакомься, Гюльнара, – Гриша. Очень умный и послушный мальчик. Кончил четыре класса еврейской школы. Полгода учился в Чухломе под Ярославлем в семилетке. По-русски говорит бойко, не хуже, чем наш председатель Нурсултан.

Харина явно преувеличивала мои способности.

– Еврейская школа? – с каким-то странным испугом произнесла директриса и сморщила свое круглое, словно нарисованное углем на белом листе бумаги лицо. – Это вы о каком государстве, Анна Пантелеймоновна, говорите?

– О Литве.

– Ах, о Литве! – воскликнула Гюльнара Садыковна. – Но тут еврейскому не учат.

– А зачем ему еврейский? На еврейском в кишлаке говорит только его мама и мой помощник по бухгалтерии Арон. Гриша хочет учить русский. С русским нигде не пропадешь – он у нас повсюду главный, – бросила Харина и, помахав классу рукой, павой выплыла за дверь.

– Гюльнара Садыковна, – вдруг заговорила Зойка. – Мама забыла вас попросить...

– О чем?

– Чтобы вы посадили меня с Гришей. Гиндин все время обзывается, да еще лезет куда не надо...

– А куда не надо?

– Пусть он вам сам скажет – мне стыдно, – Зойка опустила глаза, стараясь не смотреть на Левку.

– Гиндин, может, объяснишь, в чем дело?

– Ни в чем, – буркнул тот.

– Если не можешь объяснить, сделай милость, пересядь на предпоследнюю парту, к Амангельды. А ты, Гриша, займи его место.

Я подсел к Зойке и весь первый урок только и делал, что оглядывался на сосланного на предпоследнюю парту Левку или пялился на Зойку, на ее лицо, на пшеничные косички, на две грушки, выпиравшие из-под ситца, а она стыдливо отводила глаза и смотрела то на портрет Сталина, то на директрису.

– Ну что ты на меня уставился, – не выдержала Зойка, – не видел, что ли? Смотри на Гюльнару, на доску, на Сталина с Мамлакат...

Легко сказать «смотри на Сталина с Мамлакат», когда взгляд отскакивает от всего и, кроме Зойки, ни на ком задерживаться не желает.

По правде говоря, на Сталина я вдоволь успел насмотреться и в своей Йонаве. Его портрет висел над моей партой – только на нем он был в белом кителе, в блестящих сапогах с высокими голенищами, в которые были заправлены галифе, и без любимицы Мамлакат на коленях, курил трубку из орехового дерева, следя из-под черных бровей за тем, как на пустых небесных полях всходит огромный спелый подсолнух солнца. Когда я в мектепе поднимал

глаза на покоробившегося Сталина, то всегда вспоминал отца, который поругивал московских портных за то, что они – если судить по портретам – вождю шили галифе неважнецки, куда шире, чем полагалось по фасону; вспоминал и своего классного руководителя Хаима Бальсера, который улыбающегося в усы горца называл не иначе, как избавителем еврейского народа от вечного притеснения.

– Харина, перестань, пожалуйста, болтать. Ты мешаешь Грише слушать.

Зойка мне нисколько не мешала. Вряд ли она мешала и другим, ибо, кроме Сталина и Мамлакат на небольшом незастекленном портрете, приклеенном к стене столярным клеем, никто учительницу не слушал, никому никакого дела не было до славного акына Джамбула, воспевшего подвиг блокадного Ленинграда. Даже ленинградец Гиндин ее не слушал. На уроках всегда было шумно – ученики шушукались, судачили о том, о сем, ерзали на партах. Мальчишки, держась за портки, то и дело отпрашивались по нужде или вовсе без всякого разрешения выбегали во двор; массовое дезертирство из храма знаний в деревянный нужник возмущало Гюльнару Садыковну, но она ничего не могла с этим поделать, только напрягала свой журчащий голосок и взволнованно, скороговоркой принималась что-то втолковывать сородичам-казахам, задавала им какое-нибудь задание и переходила к русским. Вызывала их к доске, пристрастно допрашивала, откуда они приехали, кто их родители, разучивала вместе с ними какие-нибудь стихи, и непоседа-Зойка, и лупоглазая Белла Варшавская из Борисова, и рыжеволосый Гиндин, и я, как бы соревнуясь, то и дело повторяли одни и те же строчки из «Руслана и Людмилы».

Зойку директриса жалела больше всех. Она была единственной ученицей, у которой в первые дни войны на фронте погиб отец. Гюльнара Садыковна из чувства жалости и патриотизма всегда завышала ей отметки, ниже тройки никогда не ставила, не наказывала за шалости и не вызывала на родительские собрания ее маму.

Ко мне Жунусова долго присматривалась, каждый раз после уроков старалась выпытать что-нибудь о Литве, про которую ничего не знала, хотя и преподавала географию.

– Гриша, – смущенно спрашивала она меня, – ты настоящий еврей на самом деле?

Я недоуменно смотрел на свою учительницу и вежливо отвечал:

– Настоящий, Гюльнара Садыковна. А разве еще бывают ненастоящие?

От смущения директриса поправляла свой хохолок на макушке и, виновато улыбаясь, цедила:

– А Гиндин? А Варшавская?

– И они, по-моему, настоящие. Но вы у них самих спросите.

– Спрашивала. Гиндин уверяет, что он русский, а Варшавская молчит. Послушай, Гриша, может, ты об этом расскажешь классу...

– О чем?

– О евреях...

– А что о них рассказывать?

– Где живут, много ли их на свете... как называется их страна. Это ж так интересно. Мы, казахи, веками жили тут, в этих степях.

– Бабушка Роха говорила, что все люди на земле будто бы пошли от евреев.

– Все люди – от евреев?! – воскликнула Гюльнара Садыковна, и ее дикие глаза округлились от ужаса. – И мы – казахи?

– Все, все... – буркнул я, утомленный допросом.

Мой ответ ошеломил ее.

– Не может быть! – возразила она. – Неужели и председатель колхоза Нурсултан, и ваша хозяйка Харина, и Сталин с Мамлакат, все, все... не может быть!

Больше Гюльнара Садыковна меня о евреях не спрашивала. Видно, ей не очень и хотелось, чтобы все люди на земле вели свой род от евреев.

Присмотревшись, наконец, ко мне, Жунусова однажды завела меня в крохотную, похожую на кладовку учительскую, где, кроме вездесущего Сталина, ни одной живой души не было, и подвела к иссохшемуся шкафу, за стеклами которого на глобусе пылились все страны мира, в том числе и далекая, захваченная немцами Литва. Гюльнара Садыковна открыла дверцу шкафа и достала из его затхлого нутра стопку тетрадей в клеточку и в линейку, непотчатый пузырек с чернилами, две потемневшие от старости ручки с затупившимися перьями, потрепанный учебник по арифметике без обложки, «Родную речь» (русскую, конечно) и протянула мне, новичку. Попросив прощения за то, что покамест не может для всего этого набора подарить ранец (последний, мол, достался молчаливой Белле Варшавской из Борисова), директриса пообещала, что непременно привезет из Джувалинска новехонький, с застешкой и наплечными ремешками.

– Спасибо, – сказал я и поспешил к выходу – во дворе школы на большой коряге дожидалась меня Зойка.

– Погоди, Гриша, – услышал я голос Гюльнары Садыковны.

Снова приметя допрашивать о евреях, раздраженно подумал я. Там Зойка ждет, а ты тут стой и рассказывай. Но я ошибся.

– Послушай, Гриша, – как обычно начала она. – Что умеет делать твоя мама?

– Мама? – вопрос застал меня врасплох.

– Сейчас без работы пропадешь или загремишь в трудармию. Что-то надо для нее придумать.

Я не мог взять в толк, что можно придумать для моей мамы.

– Пусть она ко мне в понедельник зайдет, ладно?

– Ладно, – нетерпеливо бросил я и рысцой пустился к коряге.

– Че так долго? – Зойка встала и побежала мне навстречу.

– Гюльнара задержала, – обрадованно бросил я.

– Левка сказал, что побьет тебя, если не отдашь его место за партой, – прожужжала она. – Драться ты хоть умеешь?

– Нет, – честно признался я.

– Каждый мужчина должен уметь драться. Кто не умеет, тот размазня. Научись!

– Ну, раз просишь, я попробую, – пообещал я нетвердо.

– Папка мой умел. Он был отчаянный. Выкрал маму и к себе в Новохоперск привез. На лошади. Братья мамы в погоню бросились, но не догнали. А если бы и догнали, то он ее ни за что не отдал бы...

Домой мы шли молча, огородами, изредка выдергивали тронутую утренним инеем морковку, при наклонах ненароком касаясь друг друга головами, и то ли от этого мимолетного прикосновения, то ли от вкуса этой немой моркови у меня по телу разливалась какая-то приятная теплынь; и мне не страшны были угрозы Левки Гиндина, я думал не о них, а о том, чтобы только не кончались эти огороды, чтобы они тянулись и тянулись... А драться я научусь. Это уж точно! Только вот насчет того, чтобы невесту выкрасть и во весь упор умчаться с ней на лошади, ручаться не буду.

– Давайте, дети, к столу, – сказала мама, когда мы ввалились в хату.

Я сел первым.

– А руки ты мыл?

– Не-а... – буркнул я.

Бадья, покачиваясь, медленно, с жалобным скрипом, поднималась вверх.

Я изо всех сил крутил влажный валеk и смотрел на дымящиеся за избой охотника Бахыта отроги Ала-Тау, где в синем мареве по-хозяйски парил не то упившийся чужой кровью орел, не то взалкавший ее коршун, зорко высматривавший свою дневную добычу; легкие ажурные облака неторопливо плыли по небу на запад, может, в сторону фронта, туда, где

был мой отец, а может, и еще дальше – в Литву, в заметенную листьями Йонаву, на покинутое еврейское кладбище, к моей бабушке Рохе и деду Довиду, которые ждали привета (бабушка говорила, что мертвые ждут привета с таким же нетерпением, как и живые) от сына Шлейме, от невестки Хены и внука, бывшего Оленя-Гирша, уже не скачущего по долинам Иудеи, а бредущего по выбитому тракторами и загаженному ишаками и собаками проселку в мектеп колхоза «Тонкарес».

– Что так долго? – высунула голову в раскрытое окно мама. – Я уже думала, что ты в колодец упал.

– Иду, иду! – откликнулся я, задирая голову к небу, хотя мне и очень хотелось побыть наедине с его синевой.

Разве скажешь маме, что можно насытиться не только постным борщом, но и пушистыми облаками, разве скажешь?..

А может, ей не надо ничего говорить...

Не надо – что ей небо, что ей облака, что ей парящие над отрогами упившиеся чужой кровью орлы? Не забыть бы главное – сказать про работу.

Не забыть бы...

II

– Хватит дрыхать, чертенята! Подъем! – ни свет ни заря будила меня и Зойку тетя Аня, пахнувшая колодезной свежестью, как одеколоном. – Кто рано встает, тому Бог подает.

На допотопный будильник, который Харины привезли еще из-под Воронежа, из Новохоперска, и который по ночам дежурил у изголовья кровати, тетя Аня полагаться не хотела – дежурный то и дело подводил ее: либо принимался не вовремя трещать и пугать во тьме неутомимых добытчиц – мышей и жившего по соседству старика Бахыта, либо вообще наотрез отказывался звонить.

Еще менее надежным часовым, чем будильник, был старый соседский петух с багровым, как свежее малиновое варенье, гребнем. Степенный, с чинной поступью и с не по-деревенски изысканными манерами, он кукарекал не каждое утро, а через день, как будто от своего залиvistого кукареканья желанного удовольствия не испытывал, а только зря надрывал глотку. Кукарекает, бывало, разок-другой для того, чтобы напомнить хохлаткам о том, кто истинный хозяин в курятнике, и тут же замолкнет.

– А ну-ка, Гриша, помоги мне вытащить мою засону из постели, плесни-ка на нее холодной водицы! – для острастки дочери воскликнула тетя Аня. – Нет, чтобы со старших пример брать – Женечка на работу вон когда ушла...

Мама и впрямь уходила раньше всех. Гюльнара Садыковна устроила ее в школу уборщицей (не откажешься же от такой работы, если по-казахски ни слова не знаешь, да к тому же хвори разные донимают). Мама тихонько выскальзывала во двор, когда в небе над крутыми отрогами Ала-Тау еще ярко светился серебряный, оброненный ангелами-кочевниками бубен казахской луны, безмолвный и неправдоподобно близкий.

Я просыпался вместе с ней и, ворочаясь с боку на бок на продавленном диване, долго и боязливо прислушивался к тому, как она в потемках одевается; натягивает на себя шерстяную кофту, подаренную Хариной; как шлепает поношенными туфлями, купленными перед самой войной в фирменном магазине Фейгельмана; как осторожно прикрывает скрипучие двери и как ее недобрым, отрывистым лаем провожают до самой школы несговорчивые казахские собаки.

За работу мама принималась с самой ранней рани, благо в степи рассветало удивительно быстро (рассвет обрушивался и накрывал тьму, как оползень – мощно и неудержимо). До начала уроков нужно было привести в порядок все: протереть парты, помыть в классах и коридоре полы, вымыть окна. Хуже всего приходилось зимой, в темную пору года, когда из райцентра прекращали подачу в кишлак электричества или когда оно поступало с большими перебоями. За свою работу мама ничего не получала – деньги в колхозе никому не выдавали. И коренным жителям и эвакуированным начисляли трудодни, за которые по распоряжению председателя Нурсултана Абаевича Абаева каждый работник в конце года (если год был урожайным) получал не рублями, а натурой – картошкой второго сорта, мерой сорной ржи или подгнившей свеклой, забракованной приемщиками областного сахарозавода из Чимкента.

Трудодни начисляла Харина, которая с отличием закончила в Алма-Ате финансовый техникум, а помогал ей Арон, тихий, высохший, как саксаул, еврей – беженец из Вильнюса, очутившийся с женой в предгорном «Тонкаресе» раньше, чем мы, и ни с кем, кроме своей строгой начальницы, в колхозе не водившийся.

– Такого бухгалтера свет не видывал, – нахваливала Арона тетя Аня, – видно, уже в чреве матери счетами щелкал.

Целыми днями они сидели в конторе и колдовали над этими таинственными трудоднями, но наша хозяйка не раз предупреждала маму, чтобы та не очень-то надеялась на свои заработки – мол, тут колхозникам и до войны-то доставались только крохи, а сейчас даже и

на крохи рассчитывать нечего: «Все для фронта!» Бедолагу воробья и того до весны такими хлебами не прокормишь.

– Подъем, ленивцы! – снова крикнула тетя Аня в темноту, но темнота на ее крик не откликнулась. – Зойка! Гриша! Будь жив отец, вытянул бы ремнем обоих по теплым ягодцам, тут же, притворщики, вскочили бы как миленькие. Картошка нарезана, масло уже в сковороде, жарьте и ешьте, только хату не подпалите, – наставляла она темноту. – Простокваша на полочке в крынке... Ну, я пошла.

Шаги.

Скрип двери.

Кашель.

И снова тишина – даже Рыжик не залаял.

Зойка не шевелится.

Лежу и я неподвижно. Глаза залеплены неприснившимся сном; теплое одеяло пахнет чужими тайнами; потягиваюсь; ловлю спросонья первые, отчетливые, как зарубки на дереве, звуки за окном.

– Иа! Иа! Иа!

Это Господу напоминает о своем безотрадном существовании ишак охотника Бахыта, у которого снимают угол рыжеволосый Левка Гиндин и его мама-музыкантша.

– Цок-цок-цок...

Это выводит из стойла во двор свою Молнию – красавицу-кобылицу Кайербек, сын Бахыта. Сейчас упрется ей коленом в живот; подтянет подпругу; возьмет короткую и хлесткую камчу, сплетенную не то из бычьей кожи, не то из медной проволоки; наматывает, как драгоценный браслет, на мускулистую правую руку и легко и уверенно заберется в обтянутое темным, цвета запекшейся крови, седло и помчится во весь опор в поля. Обьездчик каждый день облетает их, как беркут небо. Кайербек и сам похож на беркута – настороженный, лохматый, глаза узкие, ненасытные. Еще задолго до восхода, до того, как солнце позолотит крыши кишлака и горные отроги, он обскочит на Молнии все свои владения – и поля вымахавшей кукурузы, и колосящуюся на ветру рожь, и бахчи с пузатыми арбузами. Кайербек сторожит колхозное богатство от воров и расхитителей. Лучшего стражника, чем сын Бахыта, не то что в колхозе – во всем Джувалинском районе не сыщешь. Пока обьездчик и его Молния кружат по окрестностям, ни один колосок не пропадет, ни один кукурузный початок тунейдцам не достанется, никто ни одного арбуза не утащит. А уж если Кайербек какого-нибудь вора заарканит, то не только все отберет, но и всю душу из него вытрясет. Недаром же его в тылу оставили. Сам военком из райцентра в «Тонкарес» пожаловал, шестьдесят с лишним километров по степи на «газике» гнал, чтобы с Кайербеком за скорую победу над Германией выпить. Обьездчик и по части выпивки мастак, пьет и не хмелеет. Выпили они с военкомом можжевелевой водочки, закусили бараниной (по этому случаю барашка специально зарезали) и наутро ударили по рукам:

– Твой фронт, Кайербек, тут, в «Тонканесе». Вредителям и врагам родины никакой пощады!

Обьездчик их и не жалел. Врагами родины были не только голодные односельчане, но и отошавшие домашние животные.

Забредет какой-нибудь неразумный телок в рожь, Кайербек так исполосует плеткой беднягу, что тот полуживой потом с неделю проваляется в хлеву, мыча так, что пастухам на предгорных выпасах слышно.

Само имя – Кайербек – уже на всех страх нагоняло. Даже могущественный председатель Нурсултан Абаевич, у которого, как уверяла наша хозяйка, было три жены и одна любовница, побаивался обьездчика. Лучше, мол, с ним не связываться – Кайербек не только кунак районного военкома, но и с начальником НКВД на короткой ноге. Председатель сто-

ронился Кайербека и на его самоуправство смотрел сквозь пальцы. Только Харина перед ним не тушевалась и страха не испытывала. Другой он своего позора никогда бы не простил. Еще бы – такому герою баба задницу кипятком ошпарила!.. Может, она и зря его не боялась. Ведь Кайербек не только по полям за расхитителями гонялся, он был и добровольным милиционером (что с того, что без мундира и без погон). Случись что – тут же руки заламывал и в колхозную каталажку волок. Сын Бахыта сам и суд вершил, и приговоры выносил, и в случае надобности в надзирателях ходил.

Зойка мне эту колхозную каталажку не раз показывала. То был самый что ни на есть обыкновенный коровник, громоздившийся на самом выезде из кишлака, вблизи песчаного кургана, где закапывали павшую скотину. Перед отправкой «вредителей» в район в следственный изолятор их до первой попутной телеги или грузовика сутки-другие держали ваперти вместе с буренками. Больше всего задержанных бывало осенью, во время уборки урожая, когда на полях и огородах было что украсть. В каталажку Кайербека частенько попадали и уклонявшиеся от призыва в армию. В отличие от воров и расхитителей дезертиров связывали веревками, и сердобольные коровы тыкались в них своими теплыми добродетельными мордами и, жалеючи, облизывали шершавыми натруженными языками.

– Гриша, спишь? – голос Зойки звучит неожиданно бодро.

– Нет, – отвечаю я ей с такой радостью, будто первый раз в жизни проснулся. – А ты?

– Сплю, сплю, – шепчет она и заливается смехом.

От ее смеха так хорошо, так хорошо, что хочется плакать.

– А как же школа?

– Школа? А может, сегодня пропустим?

Я слышу, как она в сандалиях потопала к окошку, как распахнула его и громко вдохнула утреннюю прохладу.

– Нельзя пропускать, – говорю я, борясь с соблазном остаться в хате с ней наедине. Я еще ни разу не оставался с Зойкой наедине.

Одно дело под открытым небом, где с тебя глаз не сводит каждая птишка, каждое деревце, каждый жучок, а другое дело – в пустом доме.

– Можно, – возражает Зойка. – Руслан и Людмила подождут.

Зойка, не спеша, одевается и лениво бредет мимо дивана с плюшевой спинкой на кухню, отгороженную от горницы марлевой занавеской.

– Ты как хочешь, а я пойду, – говорю я. – Надо маме помочь. С ее ли сердцем воду таскать...

– У всех сердце, – говорит Зойка таким тоном, словно посвящает меня в великую тайну. – И у тебя, и у меня. Не веришь, так послушай. – Она вдруг выныривает из-за занавески и кокетливо подбоченивается, как взрослая.

– Что послушать? – бормочу я и встаю с дивана.

– Мое сердце.

Она приближается ко мне и принимается бить себя кулачком в грудь.

– Ну что ты стоишь как вкопанный! Нагнись и послушай...

Светловолосая, голубоглазая, Зойка стоит передо мной и доит свои тонкие, как ржаные колосья, косички. Доит и ждет – склоню я голову или нет.

Слышно, как на сковороде домовито шипит подсолнечное масло. Из кухни тянет духом жареной картошки. В распахнутое окно струится заря, покрывая небеленые стены и потолок здоровым румянцем.

Приветствуя наступление утра, в конуре не зло, почти застенчиво гавкает Рыжик – полуслепая дворняга Хариных.

– Ну, – спрашивает Зойка, – долго будешь торчать, как пень?

– И отсюда слышно...

– Что слышно? – пучит она свои плутоватые голубые глаза.

– Как твое сердце стучит, – пытаюсь я оправдать свою робость. Да и как тут не робеть: вдруг вернется тетя Аня, войдет в хату...

– Зачем ты врешь? Ты же не Левка. Не нагнулся, не послушал, а повторяешь, как попка-дурак: «стучит, стучит...» – Зойка придвигается ко мне вплотную и выпячивает грудь. – Чем врать, лучше ухо приложи.

– Куда?

– Куда, куда... Хватит дурака валять. Ты что – не знаешь, где у человека сердце? – она с великодушным презрением кладет руку мне на голову и нагибает ее к своему платицу. – Ты сперва мое послушай, а потом я нагнусь и послушаю твое. И посмотрим, чье стучит громче.

Я отряхиваю с себя оторопь, как выкупанный щенок воду, осторожно прикладываю правое ухо к Зойкиной груди, где из-под дешевого ситца выпирают две уже округлившиеся грушки, и, чувствую, как меня вдруг обдает странным жаром, как вспыхивают волосы, воспаляется лицо, словно под Зойкиным платицем созревают не грушки-дички, а полыхает разведенный кем-то костерок – только прикоснись, и обожжет...

– Слышишь? – допытывается у меня Зойка.

– Слышу. Вроде бы нормально...

– Вроде бы? – кривится она.

– Надо бы еще разок послушать.

– Ишь чего захотел! – отстраняется от меня Зойка. – Хватит и одного. А в школу кто пойдет? А воды кто натаскает?

– А я бы вместо школы... вместо этого...

– Ты чего это заикаешься, как испорченная пластинка? Что вместо этого?

– Слушал бы, как оно стучит... весь день...

– Весь день? Ну, ты и скажешь! Весь день сердце слушать? Да надоест до чертиков.

– Не надоест, – уверяю я и выпячиваю грудь колесом: – Сейчас твоя очередь...

Но Зойка вдруг всплескивает руками и бросается на кухню.

– Ой, – вскрикивает она, – картошка пригорела! Ты будешь с простоквашей?

– С простоквашей, – обиженно отвечаю я и раздуваю, как мама, ноздри. Ах, Зойка, Зойка – отвергла Зойка мое сердце. И ради чего? Ради картошки! Да по мне – гори она горьмя...

– Садись! – приказывает Зойка и ставит на стол миску, стакан и крынку с простоквашей.

И вдруг ее прыть и мельтешение мне напомнили старую игру в маму и папу. Еще там, на родине – в Йонаве, я и мои сверстники играли в нее на песчаном откосе на берегу Вилии. Но сейчас в этой незамысловатой сиротской игре, в этом еще целомудренном, но уже небезгрешном подражании взрослым, в невольном повторении их привычек было что-то щемящее и настораживающее. Не было в ней той прежней завораживающей беспечности и озорства; все объяснялось новым опытом – безотцовщиной, горькими насильственными переменами в жизни, обусловленными войной. Ведь и я, и Зойка успели вдоволь хлебнуть лиха: она в этом Богом забытом кишлаке, а я – под бомбежками на беженских дорогах Литвы, в теплушках, битком набитых голодными людьми; в угрюмых очередях за скудной пайкой хлеба и спасительной кружкой кипятка или к зловонным сортирам на узловых станциях, чтобы наспех справить нужду.

– Ешь, – торопила меня Зойка, – а то до твоего прихода тетя Женя всю воду перетаскает. Ты же ей обещал.

– Обещал, обещал... – рассеянно повторял я, подцепляя вилкой драгоценные ломтики картошки. Но в моих ушах почему-то все еще продолжало тикать Зойкино сердце. Казалось, вот-вот выпрыгнет из ее груди, перелетит ко мне, и под моей рубашкой станет одним сердцем больше. Одним сердцем больше стало бы и в груди у Зойки, если бы она погасила старый

примус, если бы картошка не пригорела, если бы я не пообещал маме натаскать воды. Да мало ли этих «если бы» на свете...

До школы через огороды было рукой подать. В школьном дворе, у коновязи, учеников обычно встречал буланый муж Гульнары Садыковны – Шамиля. Конь спокойно прядал ушами, и они колыхались на юру, как лопухи.

Гульнара Садыковна и Шамиль жили не в «Тонкаресе», а в соседнем селе, в десяти километрах от колхоза. Шамиль был ссыльным, он не раз обращался в военкомат – просился на фронт, но из сосланных в Казахстан никого в армию не брали. Как все чеченцы, Шамиль был лихим наездником и на своем ухоженном, словно отполированном, рысаче частенько привозил в школу жену. Иногда Жунусова сама вскакивала в седло и, распугивая спустившихся с гор Ала-Тау козлов, пускалась вскачь по замершей в тревожном и недобром ожидании степи.

Когда мы с Зойкой вошли в школу, там, кроме Гульнары Садыковны, никого не было.

– Что это вы так рано? – пропела директриса. – Бессонница замучила?

– Гриша обещал маме помочь – воды натаскать. Ну а я... я с ним за компанию.

– Хороший сын, – похвалила Гульнара Садыковна. – Я о тебе всему классу расскажу.

– Что расскажете?

– Расскажу, какой ты. Пусть другие пример берут.

– А какой? – слукавил я – очень уж хотелось, чтобы Гульнара Садыковна еще раз похвалила меня при Зойке.

– Заботливый, славный... Разве неприятно, когда тебя хвалят?

– Приятно, – отозвалась за меня Зойка. – От похвалы даже у кошки хвостик крендельком. Ну что ты молчишь?

– Ты, я вижу, чем-то, Гриша, недоволен? Но разве там, в Литве, твоя мама полы не мыла? Пыль не вытирала?

– Мыла, вытирала, – сказал я. – Но дома, как говорила моя бабушка, и пыль золотом блестит.

– Твоя бабушка – умница, – согласилась директриса.

Мне было больно за маму, и я вовсе не стремился к тому, чтобы всех уверить, что она умеет и кое-что другое делать, а не только махать метлой и макать грязную тряпку в ведро; что там, в Литве, она не ходила с растрепанными седыми волосами, в поношенном фартуке, в кофте с чужого плеча и в дырявых туфлях.

Гульнара Садыковну, напротив, мое молчание только раззадорило. Ее так и подмывало, как можно больше узнать о нашем прежнем житье-бытье. Но как всякий еврей, я с детства любил больше спрашивать, чем отвечать на вопросы. Если не так спросишь, учили меня домочадцы, беда невелика, но если ответишь не так, то пиши, дружок, пропало.

– Дома и пыль золотом блестит, – восторженно закатила к небу свои черные глаза директриса. – И на метле яблоки растут, так что ли, Гриша?

– Угу, – набычился я, не в силах отличить ее восторг от насмешки.

Гульнара Садыковна смутилась и с вымученной улыбкой промолвила:

– А твоя бабушка... где она сейчас? Осталась там, с немцами, или...

– С немцами.

– Жаль.

– Они ей уже все равно ничего не сделают. Их живые должны бояться, а мертвым бояться некого. Мертвых хранит Бог.

Гульнара Садыковна покосилась на меня, поправила птичий хохолок на макушке и шмыгнула в учительскую.

Воспоминание о бабушке на какой-то миг привело меня на кладбище, к надгробному камню, обсаженному молодыми туями, с которых дождливой весной на могилу капали слезы. Оставив Зойку под их капелью, я и отправился искать маму.

Нашел я ее в пустом классе, примыкавшем к учительской. Я поздоровался с ней на идиш и, приблизившись, обнял одной рукой, как обычно обнимал ее отец. Мама вздрогнула и, чтобы не выдать своего волнения, поднялась на стремянку и принялась бережно протирать портрет Сталина.

– Что тебе, кецеле, прошлой ночью снилось? – не оборачиваясь, спросила она на идиш.

Я, конечно, помнил, что мне прошлой ночью снилось, но я никому не любил рассказывать про свои сны.

А снились мне прошлой ночью всякие ужасы. Меня обступали какие-то высокие деревья с вывороченными корнями. Я озираясь вокруг, но нигде не было ни зверька, ни мотылька, ни птахи. Только муравьи, крупные, как ягоды калины, несметными полчищами копошились под березами и соснами. В небе мерцали странные красные личинки, похожие, скорее, на тех же муравьев, чем на звезды. Я один стоял посреди леса и что есть мочи кричал, пытаюсь до кого-нибудь докричаться. До кого, я и сам толком не знал. Но крик мой тут же терялся в дремучей чаще, даже слабое эхо, и то не возвращалось обратно. Муравьи взбирались по моей спине, как по сосновым стволам, заползали в рот, в уши, в нос; я завопил от страха и, весь дрожа, проснулся.

– Мне бабушка снилась, – соврал я.

Не стану же я рассказывать ей про свой дурацкий сон с муравьями. Расскажешь, и мама расстроится, начнет толковать и перетолковывать его и еще предскажет какую-нибудь беду. Что бы мне ни снилось, она непременно предсказывала что-то нехорошее, и предсказания ее обязательно сбывались.

На сей раз, слава богу, обошлось. Приснившаяся бабушка, видно, ничего дурного не предвещала.

Мама стояла на стремянке и чистила обрамленного Сталина за треснувшим стеклом. Председатель Нурсултан Абаевич обещал Гюльнаре Садыковне добыть к Октябрьским праздникам в Джувалинске новое стекло. Но то ли стекла не было, то ли председатель передумал и решил обещание выполнить к Первому.

Фотографий с изображением Сталина в школе было немало – в коридоре, почти в каждом классе, в учительской, а в красном уголке висело даже большое, во всю стену, панно – молодой Коба в ссылке, как и Шамиль, муж Гюльнары Садыковны, только не среди степей, а среди сугробов.

Мама от протирки стекол на портретах Сталина ни на какие разговоры не отвлекалась. С нее она и начинала свою работу. Помыть полы, протереть парты, надраить окна можно было попозже и абы как, но оставить пыль на легендарном кителе, на орденах, на белом платице счастливой Мамлакат, примостившейся у вождя на коленях, как на царском троне! Да за такое могли в два счета выгнать из школы или вместе с дезертирами и расхитителями упечь в колхозную катаджку. Гюльнара Садыковна, должно быть, для того и взяла маму на работу, чтобы та каждый день начищала до блеска все застекленные фотографии и плакаты на тот случай, если из района вдруг нагрянет какая-нибудь государственная комиссия и устроит проверку. Больше всего директриса заботилась о Мамлакат на коленях у Сталина. Знаменитая пионерка была родом из Средней Азии и, как считала Гюльнара Садыковна, очень походила на нее в детстве.

– Правда, похожа? – не раз допытывалась она у мамы.

– Правда, – из чувства благодарности за то, что директриса приняла ее на работу, отвечала та.

– Почти все говорят – похожа. И мой Шамиль, и Нурсултан Абаевич, и даже злюка Кайербек. У меня есть фотокарточка, так я на ней – ну вылитая Мамлакат. Когда-нибудь покажу.

Мама закончила протирать портрет Сталина, слезла со стремянки и присела на парту.

– Мы тебе немного картошки оставили, – пробормотал я, не зная с чего начать разговор.

– А сам-то ты поел?

– Поел, – ответил я и вдруг ляпнул: – Мама, больше я в школу не пойду.

– Это что еще за новость?

– Надоело мне – Пушкин да Пушкин, Руслан да Людмила. Мы с Левкой решили пойти в работники – к старику Бахыту, табак рубить. Его харч, напоследок мешок пшеницы, пуд картошки и полбарашка, когда зарежет.

– Откуда у него барашки? – насупилась мама. – По двору одни куры да ишак бродят. Кого же он зарежет?

Мама, видно, не придавала никакого значения тому, сколько можно у Бахыта заработать. Казалось, обыденные слова – мешок пшеницы, пуд картошки, полбарашка, от которых зависела наша жизнь, обесмысливались, едва слетев с уст; они отскакивали от мамы и больше – повторяй их, не повторяй – к ней не возвращались, а если и возвращались, то как чужие, выхолощенные, не имеющие к ней никакого отношения. В душе у нее жили другие слова, тайные и неприкосновенные, которые были одновременно и утешением и мукой, дарили надежду и угнетали, но эти слова она благоразумно приберегала, редко выпуская на волю, где они могли скукожиться от чужого равнодушия либо подвергнуться опасности из-за собственной незащитности.

Между тем в школе стайками и поодиночке стали собираться мои однокашники. Первыми пришли казашата. За ними явилась Белла Варшавская с подаренным ранцем. Казашата о чем-то бойко лопотали на своем языке, похожем на хрипловатый клекот беркута. Но мама ни на кого не обращала внимания и словно приросла к парте. Казалось, она сама была ученицей, которую вот-вот вызовут к доске и которой за неправильные ответы поставят двойку. Правильных ответов у нее и впрямь не было. Вопросов же накопилось уйма.

Как жить?

Где отец?

Что с нами будет?

От отца по-прежнему не было никакой весточки. Жив ли он? Воюет или, может, лежит где-нибудь в госпитале после тяжелого ранения и борется со смертью? А может, как Иван Харин, погиб в бою, и на имя Хены Канович в русское село Березовка, что на Ярославщине, уже давно принесли похоронку: так, мол, и так, ваш муж – рядовой Соломон Давыдович отдал жизнь за свою родину. Мама понимала: в них, в этих похоронках, говорится не о Литве, а о другой родине, но она никак не могла взять в толк, почему за эту родину должен погибать ее муж, ее Шлейме. Ведь кроме тихого литовского местечка Йонавы у них никакой другой родины не было. Та, которой они лишились, была единственная, как жизнь. А эта, с русскими, казахами, чеченцами, какая это родина – чужбина!

Мама кляла тот день, когда немцы стали бомбить шинный завод в Ярославле, и всех беженцев, расквартированных в близлежащих райцентрах и деревнях, вдруг собрали в кучу, затолкали с пожитками в товарные вагоны и спешно отправили за тридевять земель в неизвестность: кого – на Урал, кого – в Казахстан, а кого и еще дальше – на персидскую или китайскую границу. Осталась мама в Березовке, у нее не было бы никаких сомнений – вдова она или не вдова. Тут же, в этой глухомани, приходилось уповать только на Бога. Только Бог знал, что с кем стало и где кого искать.

Мама тяжело поднялась с парты, перекинула, как винтовку, через плечо метлу и зашагала к выходу.

Не успела она выйти за дверь, как в класс влетел запыхавшийся Левка.

– Привет, Гирш! – бросил он. – Ну так как – подрядимся к Бахыту или нет? Рубим табачок или продолжаем с ученым котиком вокруг дубка на золотой цепи кружить?

Гиндин был единственный, кто не называл меня Гришей. Ему доставляло особое удовольствие склонять при Зойке на разные лады мое подлинное имя: Гирш, Гирша, Гиршу и так далее.

– Стихами сыт не будешь, – сказал он, – надо делом заниматься. Ведь лучше зарабатывать, чем воровать. Не так ли?

– Я подумаю.

– У нас в Ленинграде так говорили: индюк думал, думал, да и сдох, сердешный.

Гиндин перед каждым встречным и поперечным выхвалялся своим Ленинградом и своими родителями – мамой-музыкантшей и отцом летчиком-испытателем и рассказывал о них всем. Зойке он своими рассказами просто голову задурил. Если ему верить, то сам Сталин в Москве, в Колонном зале слушал игру его мамы и, когда та кончила играть, встал и долго ей аплодировал.

Насчет Сталина он, наверное, загибал. Розалия Соломоновна (так звали его маму) действительно была скрипачкой. Но чтобы сам Сталин ей аплодировал...

В «Тонкарес» Розалия Соломоновна привезла крохотулечку-скрипку и сложенную вчетверо цветную афишу, на которой она в длинном концертном платье стояла на сцене и прижимала к плечу свое сокровище. По вечерам, когда степь заливали сумерки и Господь Бог, как коней в ночное, табуном выпускал звезды, Розалия Соломоновна вынимала из чехла свою скрипку, словно огромную горошину из стручка, и принималась при скудном свете коптилки в хате Бахыта музицировать. В мертвой тишине ей внимал не Колонный зал, не восхищенный товарищ Сталин, а старый казах, чуткий беркут на жердочке да в сарае-развалюхе одряхлевший ишак-меланхолик.

Благоговейно, наострив уши, забитые поучениями Гюльнары Садыковны, затихали и мы с Зойкой. От игры Розалии Соломоновны на глаза нашей хозяйки наворачивались непрошенные слезы, а у мамы начинали дрожать губы.

– Не ищи меня, когда вернешься из школы, – сказала мне мама на перемене. – Я забегу к Розалии Соломоновне. Дело есть...

Я никак не мог взять в толк, зачем ей понадобилась Гиндина, но спрашивать не стал. Мои расспросы раздражали маму. По правде говоря, мне и самому не нравилось, когда ко мне приставали со всякими вопросами. Но ее молчание только разжигало мое любопытство.

Что может быть общего между ними, гадал я. Разве что одиночество; то, что ни у той, ни у другой нет мужа; то, что и на одну, и на другую уже поглядывают местные многоженцы. Ведь жизни, которые прожили Розалия Соломоновна и мама, были совсем непохожи. Мама была замужем за простым портным, а у Розалии Соломоновны муж, по рассказам Левки, был летчиком-испытателем, погибшим на авиационном параде – до войны поднял в небо новую модель истребителя и тот тут же рухнул на землю. Сталин после его гибели якобы прислал семье соболезнования и посмертно наградил Марка Гиндина Звездой Героя.

Неужели они решили поговорить о нашей затее наняться к Бахыту рубщиками табака?

Когда я вернулся из школы, мамы дома еще не было, и я решил дождаться ее возле Бахытовой хаты.

По широкому Бахытовому подворью, заваленному сломанными тележными колесами; погнутыми спицами и обручами; ошметками разодранной кошмы, в которой благополучно котились беспризорные кошки; дырявыми, давно отслужившими свой срок и еще пахнувшими сывороткой бурдюками для кумыса, ржавыми беззубыми бородами и прогнившими досками, бесцельно бродили одуревшие от своей полуголодной свободы куры и смирный, задумчивый ишак с запруженными неизбывной меланхолией глазами. Отгоняя коротким и

хлестким, как плетъ Кайербека, хвостом назойливых мух и слепней, отравлявших его и без того невеселое существование, он вдруг опускал голову и принимался к редким, выгоревшим за лето кустикам травы. Иногда от укусов насекомых бедняга молодо и изящно взбрыкивал задними ногами и тревожил небеса своим истошным криком.

На меня он всегда смотрел с какой-то заведомой нищенской благодарностью – авось, чем-нибудь вкусеньким угощу или хотя бы сочувственно проведу рукой по его красивой, впечатавшейся, как медальон в синеву неба, благородной голове.

– Мамку ищешь?

Я сразу узнал Бахыта по голосу.

– У Розы она, – просипел он и выскользнул из-под навеса, где сушились нанизанные на тонкие нити листья табака.

Коротконогий, стриженный наголо, крепко сбитый Бахыт выглядел моложе своих лет. Он не только удачно охотился в степи на куниц и лисиц, чей мех высоко ценился на базарах Чимкента и Андижана, но и преуспевал как торговец куревом – свой табак, смешанный с обыкновенным репейником, он продавал за хорошие деньги. Продаст оптом перекупщикам мешков пять махорки и живет себе не тужит, еще и сыну – Кайербеку кое-что перепадает.

– Говорят и говорят, – Бахыт сплюнул с беззлобной укоризной и ткнул, как шилом, в окно своей хаты задубевшим пальцем. – Баба рот закроет, когда солнце сядет.

Он вытащил из кармана полотняных штанов кисет с махоркой, снова сплюнул, сбив плевком прилипшую к губе былинку, чиркнул спичкой и смачно затянулся.

– Когда начнем табак рубить?

– Начнем, – неопределенно ответил я.

– Нарубим, уложим в мешочки и – в Узбекистан! А может, и в Россию махнем – в Аральск. Табак, водка и соль – товары вечные. За них всегда получишь много, особенно если война. Хватит и мне, и тебе, и Левке.

Бахыт, видно, был расположен к долгому разговору, но меня выручила мама – вышла от Розалии Соломоновны, взяла меня за руку и повела за собой.

– Помни, парень, учиться – хорошо, но торговать – лучше.

– О чем это он? – спросила мама.

– Табак свой хвалит.

Я шел за мамой, высвободив руку, и в горле у меня першило от махорочного дыма, от смутного предчувствия какой-то беды, от собственной неприкаянности. Перед моими глазами маячили не Розалия Соломоновна, не жилистый, вкрадчивый, с повадками степной лисицы, Бахыт, а его простодушный, задумчивый ишак, который принимался к каждой травинке, к каждому кусту, к недоступной небесной синеве и ждал от всех не окриков, не поношений, не тумачков, а ласки и понимания. В такие минуты я чувствовал себя словно его собратом, и сознание моего родства с ним меня ничуть не унижало, ибо я почему-то был уверен, что нет на свете ни одного живого существа, которое не нуждалось бы в чьей-то милости.

– Уроки сделал? – вывела меня из оцепенения мама.

– Какие там уроки! Гюльнара Садыковна каждый день задает одно и то же. Правда, к завтрашнему дню надо что-то о своей семье написать. О бабушке и дедушке, об отце.

– Вот и пиши, пока хозяйка не пришла с работы и не завела свой патефон. Под ее музыку ничего не напишешь.

И вправду не напишешь. От каждой пластинки Хариной, как от кладбищенского надгробия, веяло разбитой любовью, вечной разлукой, а то и смертью.

– Что писать о бабушке и о дедушке, я знаю, а вот об отце...

Мама задумалась, притулилась ко мне и тихо промолвила:

– Пиши все, что помнишь. Розалия Соломоновна обещала написать в Москву главному военному начальству. Ей-то они должны ответить – ведь сам Сталин за ее игру в ладоши хлопал. Только не проговорись при хозяйке...

– Почему? – не понял я ее просьбы.

– Потому что кому-кому, а ей уже и сам Сталин не поможет... Какой толк куда-нибудь писать после похоронки. Разве что Господу Богу. Но у Него таких писем – целые горы. Шлют и шлют. Их, наверное, миллионы. И в каждом Его спрашивают: «Скажи, Господи, где мой отец? мой сын? мой брат? моя сестра? мой муж?» Да только ответа от Него еще никто не дождался...

III

Мама не торопила Розалию Соломоновну и терпеливо ждала, когда музыкантша напишет письмо в Москву, в Народный комиссариат обороны – самое осведомленное обо всех солдатах, живых и мертвых, пленных и пропавших без вести, ведомство. Но Гиндина вдруг словно без вести пропала. То ли, замороченная собственными хворями, она забыла о своем обещании, то ли заново переписывала прошение, стараясь составить его в таких выражениях, чтобы столичные военачальники растрогались до слез, отложили в сторону все свои дела и занялись поисками какого-то рядового, бывшего местечкового портного, решившего свести с ума жену своим темным молчанием. А может, Розалия Соломоновна просто-напросто не давала о себе знать потому, что неожиданно заболела и не смогла из-за болезни взяться за перо?

– Спроси у Левки, – сказала мама, не имевшая никакого представления о Москве, о наркоматах и ничего не знавшая о России, кроме того, что главный человек в ней – Сталин и что Красная Армия, куда призвали ее Шлейме, истекает кровью и бежит от немцев. – Мне самой как-то неудобно.

Мне и самому было неудобно спрашивать Левку про своего отца. С тех пор, как Харина привела меня в школу, и я занял место рядом с Зойкой, между мной и Гиндиным возникло странное и непонятное напряжение. Я и сам не мог объяснить, за что он на меня так сердится. Ведь пересадили его не потому, что я этого хотел, я мог сидеть и с молчуньей Беллой Варшавской. Это Харина попросила. Виданное ли, мол, дело на уроках под юбку лазить, да притом еще и обзывать! Куда, мол, смотрит Гюльнара Садыковна?

Куда смотрит? Да Гюльнара Садыковна и по-хорошему Гиндина упрасивала, и строго выговаривала ему, один раз даже из класса выгнала, но Левка ее и в грош не ставил; не щадил он и однокашников-казахов, не чинясь, обзывал дикарями, а меня и недотрогу Беллу Варшавскую из Борисова – местечковыми оболтусами, слыхом не слыхавшими ни о Петергофских фонтанах, ни о знаменитых конях Клодта, ни о сокровищах Эрмитажа.

Левка выделялся среди учеников не только своей веселой наглостью и заносчивостью, но и образованностью. Прекрасно рисовал, готовился после десятилетки поступить в Ленинградский художественный институт и стать скульптором. Мог без труда вылепить из глины любую фигурку. Старик Бахыт ходил по кишлаку и, теребя жидкую, смахивавшую на пучок укропа бородку, нахваливал колдовское умение юнца-квартиранта, который – имеющие уши, да слышат! – к настоящему, живому беркуту на жердочку его глиняного двойника подсадил.

Случилось так, что наши семьи приехали в «Тонкарес» в одно и то же время да еще на одной и той же телеге с несмазанными колесами, и мы с Левкой сначала даже подружились. В наших судьбах было много общего – война сорвала с насиженных мест, лишила домашнего тепла и уюта, оба остались без отцов, оба не русские, не казахи, не чеченцы, а евреи.

Я тянулся к Гиндину, во всем старался ему подражать: сразу же по-солдатски, как и он, постригся наголо, чтобы в моих лохмах не завелись вши; тайно от мамы дымил с ним самокрутками на пустыре; по утрам таскал из курятника Бахыта теплые яйца, разбивал их о частокол и выпивал натошак. Я завидовал тому, как Гиндин свободно и певуче говорит по-русски, как напропалую сыплет фамилиями великих художников и полководцев, как наизусть читает стихи. На нашу дружбу не могла нарадоваться и мама, которая не догадывалась ни о курении на пустыре, ни о воровстве яиц из курятника – поймай меня сын Бахыта – объездчик Кайербек, и жевать мне вместе с буренками прошлогоднюю солому в коровнике-каталажке.

Мне с Левкой было куда интересней, чем в школе с Гюльнаррой Садыковной, которая так смахивала на своей детской фотокарточке на Мамлакат, и я только и делал, что всюду искал с ним встречи. Чаще всего мы с Левкой встречались за Бахытовым сараем, где на заросшем бурьяном пустыре гоняли по вечерам ободранный мяч, который погибшему Ивану Харину когда-то за спортивные достижения преподнесли в подарок в Алма-Ате на первенстве Казахстана по футболу среди колхозников. В наших играх изредка принимали участие любознательный ишак Бахыта, аппетитно обгладывавший штанги, сооруженные из стеблей засохшей кукурузы; потревоженные мыши-полевки и обуютившиеся в кустах зайцы.

Там, на пустыре, желая угодить своему другу, я однажды пересказал ему слова мамы о том, что евреи везде и всюду должны быть заодно.

– Получается: евреи всех стран, соединяйтесь, так?

– Ну да, – опешил я от его недовольного тона.

– Если у вас, у евреев, другого выхода нет, будьте заодно, соединяйтесь. С моей стороны – никаких возражений. – Гиндин устроил мяч, как щенка, и сквозь зубы процедил: – Никаких...

– А ты... разве ты?... – я почувствовал, как слова застревают у меня в горле.

– Я, Гирш, не еврей, не еврей, – зачастил Левка – Почему-то все думают, что – да, а я – нет. Мама у меня армянка, а папа – чистокровный русский. Николай Анатольевич. И по-вашему у ни бум-бум.

– А имя? – робко спросил я.

– Имя мне по Толстому дали. Был, Гирш, такой граф с бородой – Лев Николаевич, – миролюбиво произнес Гиндин и, не сводя глаз с мяча, продолжал: – Хватит про евреев, лучше давай про футбол. В Ленинграде в нашем дворе на Пяти Углах я перед войной личный рекорд поставил – сто раз мяч в воздух подкинул и ни разу не опустил. Сто раз! Пора его побить. Считай!

И Левка ловко принялся жонглировать мячом.

Я смотрел на него и покорно считал: восемьдесят девять, девяносто...

– Сколько уже?

– Скоро сто.

– Считай, считай! И запомни навсегда – никакой я не еврей. Мой корешок в отличие от твоего целехонький. Никто по нему ни ножичком, ни пилкой не прошелся.

От неожиданности я сбился со счета, но тут же смекнул, что самолюбивому Гиндину не грех и подыграть, и к предыдущей цифре на всякий случай прибавил еще пяток.

– Девяносто семь, – объявил я.

– Отлично! Но насчет корешка, я вижу, ты не очень веришь. Побью свой рекорд – и покажу.

Неужто он и в самом деле начнет штаны расстегивать? И потом – почему он так чурается своего еврейства? Ведь сам Господь Бог был евреем!

Но Левка, озабоченный побитием своего личного рекорда в неблагоприятных условиях военного времени, был целиком поглощен жонглированием.

– Считаешь? – тяжело дыша, осведомился он.

– Да, – успокоил я его, хотя для отвода глаз только шевелил губами.

– Давай, давай, – подхлестывал Гиндин.

Кожаный мяч то взлетал в голубизну, то, как приклеенный, прилипал к Левкиному носку; я стоял неподвижно, шептал про себя бессмысленные цифры и гадал, врет он про маму-армянку и папу Николая Анатольевича или не врет; наверное, все-таки врет; я думал не о том, побьет он свой рекорд или не побьет, а об этом сером, вытоптанном, как наша прежняя жизнь, пустыре, на котором по роковой случайности сошлись Рыбацкая улица в моей далекой, никому не известной Ионаве и улица Пяти Углов в Левкином брызжущем фонта-

нами Ленинграде; мысли, как мыши-полевки, сновали по пустынному, заросшему бурьяном полю, и мне почему-то становилось жалко самого себя и Левки, и Анны Хариной, и Розалии Соломоновны, и моей мамы, и эта жалость дегтем чернила голубое небо, сжимала сердце, превращая его в крохотный, подпрыгивающий в груди мячик, и, вопреки всему, не столько отчуждала меня от Гиндина, сколько печально сближала с ним.

– Спроси у Левки, – каждый день напоминала мне мама. Она по-прежнему была убеждена, что все евреи должны быть заодно, и я не спешил ее разочаровывать и подрывать веру во всеилие еврейского единства.

Меня самого заботило, написала ли Розалия Соломоновна письмо в Москву или еще до сих пор пишет. Раз обещала, то обязательно напишет. Напишет и пошлет.

Я мог ждать, а вот мама больше не могла. Ей хотелось, чтобы письмо поскорей прочли в Москве и прислали ответ. И, конечно, хороший. Но что бы ни случилось с отцом, она должна знать правду. Неизвестность ее страшила и угнетала. Мне же казалось, что торопиться нечего – в столицу, наверное, каждый день прибывают поезда, битком набитые такими письмами-прошениями. Пока их разберут, пока на все ответят, глядишь, и война закончится, и те, кто уцелел, остался в живых, вернутся домой. Разве не лучше – не знать и ждать. Ведь пока не знаешь, надеешься. Надежда, пусть и напрасная, порой слаще правды.

Я не сомневался, что отсюда, из этой наглухо захлопнутой степными сквозняками западни, письма никогда и никуда не доходят; мне казалось, что они улетучиваются по дороге, что зимой их заметают метели, а весной они истаявают, как снег на вековых курганах, и простодушные, изнывающие от жажды тушканчики вылезают из нор и тычутся мордочками в разлитые строки и предложения, как в лужицы, и слизывают все до последней запятой.

Не было у меня сомнений и в том, что и сюда почтальоны никому ниоткуда писем не приносят. С того дня, как мы появились в этом кишлаке, я ни одного почтаря в глаза не видел. Почту в колхоз доставляли с оказией, когда по всей округе собирали новобранцев и усаживали их в крытые брезентом грузовики, или когда кто-нибудь из начальства возвращался из области с какого-нибудь слета или съезда. Каждая весть, добрая или дурная, добиралась по степи до заброшенного «Тонкареса» с большим опозданием. Похоронку на Ивана Харина привез из Джувалинска председатель Нурсултан Абаевич. Поехал на праздник урожая и под расписку взял ее в военкомате. Он долго, очень долго держал эту бумагу в колхозном сейфе вместе со всякими почетными грамотами за досрочно проведенные посевные кампании, за перевыполнение плана по поставкам государству зерновых и продуктов животноводства, а также с пожелтевшими квитанциями о сдаче партвзносов, скрывал ее от Хариной и отдал страшное извещение только чуть ли не через полгода после гибели Ивана. Этого тетя Аня Нурсултану Абаевичу простить не могла, перестала даже с ним разговаривать. Но, по-моему, он поступил правильно – не хотел, чтобы Харина рвала на себе волосы. Председателю Нурсултану, видно, ее спокойствие было дороже, чем правда. И я бы на его месте, наверное, не отдал бы похоронку – меньше знаешь, спокойнее спишь...

– Спрошу, обязательно спрошу, – пообещал я.

Мама попыталась улыбнуться, но глаза ее вдруг подозрительно засверкали и по рапаханному морщинками лицу потекли слезы. Она их не вытирала, и жаркий степной ветер медленно осушал ее бледные щеки.

Как назло, Левка который уже день в школу не приходил, и я решил подкараулить его на Бахытовом подворье. Уже садилось солнце, когда я увидел, как он, перебирая своими длинными, как у аиста, ногами, обутыми в ладные довоенные ботинки, быстро шел к нужнику.

Я поздоровался с ним, но он не ответил.

– Здравствуй! – повторил я громко.

– Здравствуй, здравствуй, – выплюнул он, как лужгу, свое приветствие.

– Я хотел тебя кое о чем спросить...

– Потом, потом! Пос...ть по-людски не дадут...

Пока Левка справлял нужду, я крутился около высохшей деревянной будки. В ее стенах зияли большие щели, кое-где законопаченные клоками овечьей шерсти; проржавевший лист жести заменял крышу; чуть поодаль от нужника росли высокие лопухи, листьями которых охотно, вместо бумаги, пользовались жильцы и случайные прохожие.

– Розалия Соломоновна обещала моей маме написать письмо в Москву. Ты не знаешь – она написала? – бросился я с головой в омут в надежде на то, что мне удастся выудить у Левки хоть какую-нибудь новость.

– Письмо? – переспросил он.

– Может, Розалия Соломоновна заболела?

– Во-первых, она не Соломоновна, а Согомоновна. Дедушку по-армянски звали Согомон, а не Соломон. Понятно? Во-вторых, ни о каком письме я ничего не слышал. В-третьих, ей сейчас не до писем. У мамы приступ, – насупился Левка, застегнул ремень, сплюнул сквозь зубы и двинулся к хате.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.